# Иегуда бен Галеви

***1
«Да прилипнет в жажде к нёбу
Мой язык и да отсохнут
Руки, если я забуду
Храм твой, Иерусалим!..»
Песни, образы так бурно
В голове моей теснятся,
Чудятся мужские хоры,
Хоровые псалмопенья.
Вижу бороды седые,
Бороды печальных старцев.
Призраки, да кто ж из вас
Иегуда бен Галеви?
И внезапно — все исчезло:
Робким призракам несносен
Грубый оклик земнородных.
Но его узнал я сразу, —
Да, узнал по древней скорби
Многомудрого чела,
По глазам проникновенным
И страдальчески пытливым,
Но и без того узнал бы
По загадочной улыбке
Губ, срифмованных так дивно,
Как доступно лишь поэтам.
Год приходит, год проходит, —
От рожденья Иегуды
Бен Галеви пролетело
Семь столетий с половиной.
В первый раз увидел свет
Он в Кастилии, в Толедо;
Был младенцу колыбельной
Говор Тахо золотого.
Рано стал отец суровый
Развивать в ребенке мудрость, —
Обученье началось
С божьей книги, с вечной Торы.
Сыну мудро толковал он
Древний текст, чей живописный,
Иероглифам подобный,
Завитой квадратный шрифт,
Этот чудный шрифт халдейский,
Создан в детстве нашим миром
И улыбкой нежной дружбы
Сердце детское встречает.
Тексты подлинников древних
Заучил в цитатах мальчик,
Повторял старинных тропов
Монотонные напевы
И картавил так прелестно,
С легким горловым акцентом,
Тонко выводил шалшелет,
Щелкал трелью, словно птица.
Также Таргум Онкелос,
Что написан на народном
Иудейском диалекте, —
Он зовется арамейским
И примерно так походит
На язык святых пророков,
Ну, как швабский на немецкий, —
Этот желтоцвет еврейский
Тоже выучил ребенок,
И свои познанья вскоре
Превосходно применил он
В изучении Талмуда.
Да, родитель очень рано
Ввел его в Талмуд, а после —
И в великую Галаху,
В эту школу фехтованъя,
Где риторики светшш,
Первоклассные атлеты
Вавилона, Пумпедиты
Упражнялись в состязаньях.
Здесь ребенок изощрился
В полемическом искусстве, —
Этим мастерством словесным
Позже он блеснул в «Козари».
Но, как небо нам сияет
Светом двойственной природы:
То горячим светом солнца,
То холодным лунным светом, —
Так же светит нам Талмуд,
Оттого его и делят
На Галаху и Агаду.
Первую назвал я школой
Фехтования, а вторую
Назову, пожалуй, садом,
Садом странно-фантастичным,
Двойником другого сада,
Порожденного когда-то
Также почвой Вавилона:
Это сад Семирамиды,
Иль восьмое чуда света.
Дочь царей Семирамиду
Воспитали в детстве птицы,
И царица сохранила
Целый ряд привычек птичьих:
Не хотела променады
Делать по земле, как все мы,
Млеком вскормленные твари,
И взрастила сад воздушный, —
Высоко на колоссальных
Колоннадах заблистали
Клумбы, пальмы, апельсины,
Изваянья, водометы —
Скреплены хитро и прочно,
Как плющом переплетенным,
Сетью из мостов висячих,
Где качались важно птицы,
Пестрые, большие птицы,
Мудрецы, что молча мыслят,
Глядя, как с веселой трелью
Подле них порхает чижик.
Все блаженно пьют прозрачный,
Как бальзам душистый, воздух,
Не отравленный зловонным
Испарением земли..
Да, Агада — сад воздушный
Детских вымыслов, и часто
Юный ученик Талмуда,
Если сердце, запылившись,
Глохло от сварливой брани
И от диспутов Галахи,
Споров о яйце фатальном,
Что снесла наседка в праздник,
Иль от столь же мудрых прений
По другим вопросам, — мальчик
Убегал, чтоб освежиться,
В сад, в цветущий сад Агады,
Где так много старых сказок,
Подлинных чудесных былей,
Житий мучеников славных,
Песен, мудрых изречений,
Небылиц, таких забавных,
Полных чистой пылкой веры.
О, как все блистало, пело,
Расцветало в пышном блеске!
И невинный, благородный
Дух ребенка был захвачен
Буйной дерзостью фантазий,
Волшебством блаженной скорби,
Страстным трепетом восторга —
Тем прекрасным тайным миром,
Тем великим откровеньем,
Что поэзией зовется.
И поэзии искусство —
Высший дар, святая мудрость —
Мастерство стихосложенья
Сердцу мальчика открылось.
Иегуда бен Галеви
Стал не только мудрый книжник,
Но и мастер песнопенья,
Но и первый из поэтов.
Да, он дивным был поэтом,
Был звездой своей эпохи,
Солнцем своего народа —
И огромным, чудотворным,
Огненным столпом искусства.
Он пред караваном скорби,
Пред Израилем-страдальцем,
Шел пустынями изгнанья.
Песнь его была правдива,
И чиста, и непорочна,
Как душа его; всевышний,
Сотворив такую душу,
Сам доволен был собою,
И прекраснейшую душу
Радостно поцеловал он, —
И трепещет тихий отзвук
Поцелуя в каждой песне,
В каждом слове песнотворца,
Посвященного с рожденья
Божьей милостью в поэты.
Ведь в поэзии, как в жизни,
Эта милость — высший дар!
Кто снискал ее — не может
Ни в стихах грешить, ни в прозе.
Называем мы такого
Божьей милостью поэта
Гением; он в царстве духа
Абсолютный самодержец,
Он дает ответ лишь богу,
Не народу, — ведь в искусстве
Нас народ, как в жизни, может
Лишь казнить, но не судить.
2
«Так на реках вавилонских
Мы рыдали, наши арфы
Прислонив к плакучим ивам», —
Помнишь песню древних дней?
Помнишь — старое сказанье
Стонет, плачется уныло,
Ноет, словно суп в кастрюльке,
Что кипит на очаге!
Сотни лет во мне клокочет,
Скорбь во мне кипит! А время
Лижет рану, словно пес,
Иову лизавший язвы.
За слюну спасибо, пес,
Но она лишь охлаждает,
Исцелить меня могла бы
Смерть, — но я, увы, бессмертен!
Год приходит, год проходит!
Деловито ходит шпулька
На станке, — а что он ткет,
Ни единый ткач не знает.
Год приходит, год проходит, —
Человеческие слезы
Льются, капают на землю, —
И земля сосет их жадно.
Ах, как бешено кипит!
Скачет крышка!.. Слава мужу,
Чья рука твоих младенцев
Головой швырнет о камень.
Слава господу! Все тише
Котелок клокочет. Смолк.
Мой угрюмый сплин проходит,
Западно-восточный сплин.
Ну, и мой конек крылатый
Ржет бодрее, отряхает
Злой ночной кошмар и, мнится,
Молвит умными глазами:
«Что ж, опять летим в Толедо,
К маленькому талмудисту,
Что великим стал поэтом, —
К Иегуде бен Галеви?»
Да, поэт он был великий —
Самодержец в мире грезы,
Властелин над царством духов,
Божьей милостью поэт.
Он в священные сирвенты,
Мадригалы и терцины,
Канцонетты и газеллы
Влил огонь души, согретой
Светлым поцелуем бога!
Да, поистине был равен
Этот трубадур великий
Несравненным песнотворцам
Руссильона и Прованса,
Пуату и прочих славных
Померанцевых владений
Царства христиан галантных.
Царства христиан галантных
Померанцевые земли!
Их цветеньем, блеском, звоном
Скрашен мрак воспоминаний!
Чудный соловьиный мир!
Вместо истинного бога —
Ложный бог любви да музы, —
Вот кому тогда молились!
Розами венчая плеши,
Клирики псалмы там пели
На веселом лангедоке,
А мирянин, знатный рыцарь,
На коне гарцуя гордо
В стихотворных выкрутасах
Славил даму, чьим красотам
Радостно служил он сердцем.
Нет любви без дамы сердца!
Ну, а уж певец любви —
Миннезингер, — тот без дамы
Что без масла бутерброд!
И герой, воспетый нами,
Иегуда бен Галеви,
Увлечен был дамой сердца —
Но совсем особой дамой.
Не Лаурой, чьи глаза,
Эти смертные светила,
На страстной зажгли во храме
Знаменитейший пожар,
Не нарядной герцогиней
В блеске юности прекрасной,
Королевою турниров,
Присуждавшей храбрым лавры,
Не постельной казуисткой,
Поцелуйным крючкотвором,
Докторолухом, ученым
В академиях любви, —
Нет, возлюбленная рабби
В жалкой нищете томилась,
В лютой скорби разрушенья
И звалась: Иерусалим.
С юных лет в ней воплотилась
Вся его любовь и вера,
Приводило душу в трепет
Слово «Иерусалим».
Весь пунцовый от волненья,
Замирая, слушал мальчик
Пилигрима, что в Толедо
Прибыл из восточных стран
И рассказывал, как древний
Город стал пустыней дикой, —
Город, где в песке доныне
Пламенеет след пророка,
Где дыханьем вечным бога,
Как бальзамом, полон воздух.
«О юдоль печали!» — молвил
Пилигрим, чья борода
Белым серебром струилась,
А у корня каждый волос
Черен был, как будто сверху
Борода омоложалась, —
Странный был он пилигрим;
Вековая скорбь глядела
Из печальных глаз, и горько
Он вздыхал: «Иерусалим!
Ты, людьми обильный город,
Стал пустынею, где грифы,
Где гиены и шакалы
В гнили мерзостно пируют,
Где гнездятся змеи, совы
Средь покинутых развалин,
Где лиса глядит спесиво
Из разбитого окошка
Да порой, в тряпье одетый,
Бродит нищий раб пустыни
И пасет в траве высокой
Худосочного верблюда.
На Сионе многославном,
Где твердыня золотая
Гордым блеском говорила
О величье властелина, —
Там, поросшие бурьяном,
Тлеют грудами обломки
И глядят на нас так скорбно,
Так тоскливо, будто плачут.
Ах, они и вправду плачут,
Раз в году рыдают камни —
В месяц аба, в день девятый;
И, рыдая сам, глядел я,
Как из грубых диких глыб
Слезы тяжкие катились,
Слышал, как колонны храма
В прахе горестно стонали».
Слушал речи пилигрима
Юным сердцем Иегуда
И проникся жаждой страстной
Путь свершить в Иерусалим.
Страсть поэта! Роковая
Власть мечтаний и предчувствий,
Чью святую мощь изведал
В замке Блэ видам прекрасный,
Жоффруа Рюдель, услышав,
Как пришедшие с востока
Рыцари при звоне кубков
Громогласно восклицали:
«Цвет невинности и чести,
Перл и украшенье женщин —
Дева-роза Мелисанда,
Маркграфиня Триполи!» —
Размечтался трубадур наш,
И запел о юной даме,
И почувствовал, что сердцу
Стало тесно в замке Блэ, —
И тоска им овладела.
К Цетте он поплыл, но в море
Тяжко заболел и прибыл,
Умирая, в Триполи.
Там увидел Мелисанду
Он телесными очами,
Но тотчас же злая смерть
Их покрыла вечной тенью.
И в последний раз запел он
И, не кончив песню, мертвый,
Пал к шагам прекрасной дамы —
Мелисаады Триполи.
Как таинственно и дивно
Сходны судьбы двух поэтов,
Хоть второй лишь мудрым старцем
Совершил свой путь великий!
И Иегуда бен Галеви
Принял смерть у ног любимой,
Преклонил главу седую
У колен Иерусалима.
3
После битвы при Арбеллах
Юный Александр Великий
Землю Дария и войско,
Двор, гарем, слонов и женщин,
Деньги, скипетр и корону —
Золотую дребедень —
Все набил в свои большие
Македонские шальвары.
Дарий, тот удрал от страха,
Как бы в них не угодить
Царственной своей персоной.
И герой в его шатре
Захватил чудесный ларчик,
Золотой, в миниатюрах,
Инкрустированный тонко
Самоцветными камнями.
Был тот ларчик сам бесценен,
А служил лишь для храненья
Драгоценностей короны,
И других сокровищ царских.
Александр их раздарил
Самым храбрым — и смеялся,
Что мужчины, словно дети,
Рады пестрым побрякушкам.
Драгоценнейшую гемму
Милой матери послал он, —
И кольцо с печатью Кира
Стало просто дамской брошкой.
Ну, а старый Аристотель —
Знаменитый забияка,
Мир поставивший вверх дном,
Для коллекции диковин
Получил оникс огромный.
В ларчике имелись перлы,
Нить жемчужин, что Атоссе
Подарил Смердис поддельный, —
Жемчуг был ведь настоящий!
И веселый победитель
Отдал их Таис, прекрасной
Танцовщице из Коринфа.
Та, украсив жемчугами
Волосы, их, как вакханка,
Распустила в ночь пожара,
В Персеполисе танцуя,
И швырнула в царский замок
Факел свой — и с громким треском
Яростно взметнулось пламя
Карнавальным фейерверком.
После гибели Таис,
Что скончалась в Вавилоне
От болезни вавилонской,
Перлы были в зале биржи
Пущены с аукциона, —
И купил их жрец мемфисский
И увез их в свой Египет,
Где они явились позже
В шифоньерке Клеопатры,
Что толкла прекрасный жемчуг
И, с вином смешав, глотала,
Чтоб Антония дурачить.
А с последним Омаядом
Перлы прибыли в Гренаду
И блистали на тюрбане
Кордуанского калифа.
Третий Абдергам украсил
Ими панцирь на турнире,
Где пронзил он тридцать броней
И Зюлеймы юной сердце.
Но с паденьем царства мавров
Перешли и эти перлы
Во владенье христиан,
Властелинов двух Кастилий,
Католических величеств, —
И испанских государынь
Украшали на турнирах,
На придворных играх, в цирке,
На больших аутодафе,
Где величества с балконов
Наслаждались ароматом
Старых жареных евреев.
Правнук черта Мендицабель
Заложил потом все перлы
Для покрытья дефицита
В государственных финансах.
В Тюильри, в дворцовых залах,
Вновь на свет они явились
И сверкали там на шее
Баронессы Соломон.
Вот судьба прекрасных перлов!
Ларчик меньше приключений
Испытал, — его оставил
Юный Александр себе,
И в него сложил он песни
Бесподобного Гомера,
Своего любимца. На ночь
Ставил он у изголовья
Этот ларчик, и оттуда,
Чуть задремлет царь, вставали,
В сон проскальзывали тихо
Образы героев светлых.
Век иной — иные птицы
Ах, и я любил когда-то
Эти песни о деяньях
Одиссея и Пелида,
И в душе моей, как солнце,
Рдели золото и пурпур»
Виноград вплетен был в кудри,
И, ликуя, пели трубы.
Смолкни, память! Колесница
Триумфальная разбита,
А пантеры упряжные
Передохли все, как девы,
Что под цитры и кимвалы
В пляске шли за мной; и сам я
Извиваюсь в адских муках,
Лежа в прахе. Смолкни, память!
Смолкни, память!.. Речь вели
Мы о ларчике царевом,
И такая мысль пришла мне:
Будь моим подобный ларчик, —
Не заставь меня финансы
Обратить его в монету, —
Я бы запер в этот ларчик
Золотые песни рабби
Иегуды бен Галеви —
Гимны радости, газеллы,
Песни скорби, путевые
Впечатленья пилигрима —
Дал бы лучшему цофару
На пергаменте чистейшем
Их списать, и положил бы
Рукопись в чудесный ларчик,
И держал бы этот ларчик
На столе перед кроватью,
Чтоб могли дивиться гости
Блеску маленькой шкатулки,
Превосходным Барельефам,
Мелким, но таким прекрасным,
Инкрустациям чудесным
Из огромных самоцветов.
Я б гостям с улыбкой молвил:
«Это что! — Лишь оболочка
Лучшего из всех сокровищ:
Там сияют — бриллианты,
Отражающие небо,
Там рубины пламенеют
Кровью трепетного сердца,
Там смарагд обетованья,
Непорочные лазури,
Перлы, краше дивных перлов,
Принесенных Лже-Смердисом
В дар пленительной Атоссе,
Бывших лучшим украшеньем
Высшей знати в этом мире,
Обегаемом луною:
И Таис, и Клеопатры,
И жрецов, и грозных мавров,
И испанских государынь,
И самой высокочтимой
Баронессы Соломон.
Те прославленные перлы —
Только сгустки бледной слизи,
Выделенья жалких устриц,
Тупо прозябавших в море.
Мною ж собранные перлы
Рождены душой прекрасной,
Светлым духом, чьи глубины
Глубже бездны океана,
Ибо эти перлы — слезы
Иегуды бен Галеви, —
Ими горько он оплакал
Гибель Иерусалима.
И связал он перлы-слезы
Золотою ниткой рифмы,
В ювелирно стихотворства
Сделал песней драгоценной.
И доныне эта песня,
Этот плач великой скорби
Из рассеянных по свету
Авраамовых шатров
Горько льется в месяц аба,
В день девятый — в годовщину
Гибели Иерусалима,
Уничтоженного Титом.
Эта песня — гимн сионский
Иегуды бен Галеви,
Плач предсмертный над священным
Пеплом Иерусалима.
В покаянной власянице,
Босоногий, там сидел он
На поверженной колонне;
И густой седою чащей
Волосы на грудь спадали,
Фантастично оттеняя
Бледный, скорбный лик поэта
С вдохновенными очами.
Так сидел он там и пел,
Словно древний ясновидец, —
И казалось, из могилы
Встал пророк Иеремия.
И в руинах смолкли птицы,
Слыша вопли дикой скорби,
Даже коршуны, приблизясь,
Им внимали с состраданьем.
Вдруг, на стременах качаясь,
Мимо, на коне огромном,
Дикий сарацин промчался,
Белое копье колебля, —
И, метнув оружье смерти
В грудь несчастного поэта,
Ускакал быстрее ветра,
Словно призрак окрыленный.
Кровь певца текла спокойно,
И спокойно песню скорби
Он допел, и был предсмертный
Вздох его: «Иерусалим!»
Молвит старое сказанье,
Что жестокий сарацин
Был не человек преступный,
А переодетый ангел,
Посланный на землю небом,
Чтоб унесть любимца бога
Из юдоли слез, без муки
Взять его в страну блаженных.
В небе был он удостоен
Крайне лестного приема, —
Это был сюрприз небесный,
Драгоценный для поэта.
Хоры ангелов навстречу
Вышли с музыкой и пеньем,
И в торжественном их гимне
Он узнал свою же песню —
Брачный гимн синагогальный,
Гимн субботний Гименею,
Строй ликующих мелодий,
Всем знакомых, — что за звуки!
Ангелы трубили в трубы,
Ангелы на скрипках пели,
Ликовали на виолах,
Били в бубны и кимвалы.
И в лазурных безднах неба
Так приветливо звенело,
Так приветливо звучало:
«Лехо дауди ликрас калле!»1
4
Рассердил мою супругу
Я последнею главой,
А особенно рассказом
Про бесценный царский ларчик.
Чуть не с горечью она мне
Заявила, что супруг
Подлинно религиозный
Обратил бы ларчик в деньги,
Что на них он приобрел бы
Для своей жены законной
Белый кашемир, который
Нужен, бедной, до зарезу;
Что с Иегуды бен Галеви
Было бы довольно чести
Сохраняться просто в папке
Из красивого картона,
По-китайски элегантно
Разрисованной узором,
Вроде чудных бонбоньерок
Из пассажа «Панорама».
«Странно! — вскрикнула супруга. —
Если он такой уж гений,
Почему мне незнакомо
Даже имя бен Галеви?»
«Милый друг мой, — отвечал я, —
Ангел мой, прелестный неуч,
Это результат пробелов
Во французском воспитанье.
В пансионах, где девицам,
Этим будущим мамашам
Вольного народа галлов,
Преподносят мудрость мира:
Чучела владык Египта,
Груды старых мумий, тени
Меровингских властелинов
С ненапудренною гривой,
Косы мудрецов Китая,
Царства пагод из фарфора, —
Всё зубрить там заставляют
Умных девочек. Но, боже!
Назови-ка им поэта,
Гордость золотого века
Всей испано-мавританской
Старой иудейской школы,
Назови им Ибен Эзру,
Иегуду бен Галеви,
Соломона Габироля —
Триединое созвездье,
Словом, самых знаменитых, —
Сразу милые малютки
Сделают глаза большие
И на вас глядят овцой.
Мой тебе совет, голубка,
Чтоб такой пробел заполнить,
Позаймись-ка ты еврейским, —
Брось театры и концерты,
Посвяти годок иль больше
Неустанной штудировке —
И прочтешь в оригинале
Ибен Эзру, Габироля
И, понятно, бен Галеви —
Весь триумвират поэтов,
Что с волшебных струн Давида
Лучшие похитил звуки.
Аль-Харизи — я ручаюсь,
Он тебе знаком не больше,
А ведь он остряк — французский,
Он переострил Харири
В хитроумнейших макамах
И задолго до Вольтера
Был чистейшим вольтерьянцем, —
Этот Аль-Харизи пишет:
«Габироль — властитель мысли,
Он мыслителям любезен;
Ибен Эзра — царь искусства,
Он художников любимец;
Но достоинства обоих
Сочетал в себе Галеви:
Величайший из поэтов,
Стал он всех людей кумиром».
Ибен Эзра был старинный
Друг, — быть может, даже родич, —
Иегуды бен Галеви;
И Галеви в книге странствий
С болью пишет, что напрасно
Он искал в Гранаде друга, —
Что нашел он только брата,
Рабби Мейера — врача
И к тому же стихотворца
И отца прекрасной девы,
Заронившей безнадежный
Пламень страсти в сердце Эзры.
Чтоб забыть свою красотку,
Взял он страннический посох,
Стал, как многие коллеги,
Жить без родины, без крова.
На пути к Иерусалиму
Был татарами он схвачен
И, привязанный к кобыле,
Унесен в чужие степи.
Там впрягли беднягу в службу,
Недостойную раввина,
А тем более поэта:
Начал он доить коров.
Раз на корточках сидел он
Под коровой и усердно
Вымя теребил, стараясь
Молоком наполнить крынку, —
Не почетное занятье
Для раввина, для поэта!
Вдруг, охвачен страшной скорбью,
Песню он запел; и пел он
Так прекрасно, так печально,
Что случайно шедший мимо
Хан татарский был растроган
И вернул рабу свободу,
Много дал ему подарков:
Лисью шубу и большую
Сарацинскую гитару,
Выдал денег на дорогу.
Злобный рок, судьба поэта!
Всех потомков Аполлона
Истерзала ты и даже
Их отца не пощадила:
Ведь, догнав красотку Дафну,
Не нагое тело нимфы,
А лавровый куст он обнял, —
Он, божественный Шлемиль.
Да, сиятельный дельфиец
Был Шлемиль, и даже в лаврах,
Гордо увенчавших бога, —
Признак божьего шлемильства.
Слово самое «Шлемиль»
Нам понятно. Ведь Шамиссо
Даже в Пруссии гражданство
Дал ему (конечно, славу),
И осталось неизвестным,
Как исток святого Нила,
Лишь его происхожденье;
Долго я над ним мудрил,
А потом пошел за справкой,
Много лет назад в Берлине,
К другу нашему Шамиссо,
К обер-шефу всех Шлемилей.
Но и тот не мог ответить
И на Гицига сослался,
От которого узнал он
Имя Петера без тени
И фамилию. Я тотчас
Дрожки взял и покатил
К Гицигу. Сей чин судебный
Прежде звался просто Ициг,
И когда он звался Ициг,
Раз ему приснилось небо
И на небе надпись. Гициг, —
То есть Ициг с буквой Г.
«Что тут может значить Г? —
Стал он размышлять. — Герр Ициг
Или горний Ициг? Горний —
Титул славный, но в Берлине
Неуместный». Поразмыслив,
Он решил назваться «Гициг», —
Лишь друзьям шепнув, что горний
В Гициге сидит святой.
«Гициг пресвятой! — сказал я,
Познакомясь. — Вы должны мне
Объяснить языковые
Корни имени Шлемиль».
Долго мой святой хитрил,
Всё не мог припомнить, много
Находил уверток, клялся
Иисусом, — наконец
От моих штанов терпенья
Отлетели все застежки,
И пошел я тут ругаться,
Изощряться в богохульстве,
Так что пиетист почтенный
Побледнел как смерть, затрясся,
Перестал мне прекословить
И повел такой рассказ:
«В Библии прочесть мы можем,
Что частенько в дни скитаний
Наш Израиль утешался
С дочерями Моавитов.
И случилось, некий Пинхас
Увидал, как славный Зимри
Мерзкий блуд свершал с такой же
Мадиамской уроженкой.
И тотчас же в лютом гневе
Он схватил копье и Зимри
Умертвил на месте блуда.
Так мы в Библии читаем.
Но из уст в уста в народе
С той поры передается,
Что своим оружьем Пинхас
Поразил совсем не Зимри
И что, гневом ослепленный,
Вместо грешника убил он
Неповинного. Убитый
Был Шлемиль бен Цури-Шадцай».
Этим-то Шлемилем Первым
Начат был весь род Шлемилей:
Наш родоначальник славный
Был Шлемиль бен Цури-Шадцай.
Он, конечно, не прославлен
Доблестью, мы только знаем
Имя, да еще известно,
Что бедняга был Шлемилем.
Но ведь родовое древо
Ценно не плодом хорошим,
А лишь возрастом, — так наше
Старше трех тысячелетий!
Год приходит, год проходит;
Больше трех тысячелетий,
Как погиб наш прародитель,
Герр Шлемиль бен Цури-Шадцай.
Уж давно и Пинхас умер,
Но копье его доныне
Нам грозит, всегда мы слышим,
Как свистит оно над нами.
И оно сражает лучших —
Как Иегуда бен Галеви,
Им сражен был Ибен Эзра,
Им сражен был Габироль.
Габироль — наш миннезингер,
Посвятивший сердце богу,
Соловей благочестивый,
Чьею розой был всевышний, —
Чистый соловей, так нежно
Пел он песнь любви великой
Средь готического мрака,
В тьме средневековой ночи.
Не страшился, не боялся
Привидений и чудовищ,
Духов смерти и безумья,
Наводнявших эту ночь!
Чистый соловей, он думал
Лишь о господе любимом,
Лишь к нему пылал любовью,
Лишь его хвалою славил!
Только тридцать весен прожил
Вещий Габироль, но Фама
Раструбила по вселенной
Славу имени его.
Там же, в Кордове, с ним рядом,
Жил какой-то мавр; он тоже
Сочинял стихи и гнусно
Стал завидовать поэту.
Чуть поэт начнет, бывало,
Петь — вскипает желчь у мавра,
Сладость песни у мерзавца
Обращалась в горечь злобы.
Ночью в дом свой заманил он
Ненавистного поэта
И убил его, а труп
Закопал в саду за домом.
Но из почвы, где зарыл он
Тело, вдруг росток пробился,
И смоковница возникла
Небывалой красоты.
Плод был странно удлиненный,
Полный сладости волшебной,
Кто вкусил его — изведал
Несказанное блаженство.
И тогда пошли в народе
Толки, сплетни, пересуды,
И своим светлейшим ухом
Их услышал сам калиф.
Сей же, собственноязычно
Насладившись феноменом,
Учредил немедля строгий
Комитет по разысканью.
Дело взвесили суммарно:
Всыпали владельцу сада
В пятки шестьдесят бамбуков —
Он сознался в злодеянье;
После вырыли из почвы
Всю смоковницу с корнями,
И народ узрел воочью
Труп кровавый Габироля.
Пышно было погребенье,
Беспредельно горе братьев.
В тот же день калифом был***